

АБСОЛЮТНАЯ ГАРМОНИЯ АКАДЕМИКА И ДИАКОНА

Сергей Владимирович Кривовицев – член-корреспондент Российской Академии наук и доктор геолого-минералогических наук. А еще он – отец Сергея, поскольку одновременно является диаконом Русской Православной Церкви. Недавно он был назначен председателем Кольского научного центра РАН. Мы поговорили с ним о том, как ему удается совмещать церковное служение и научную деятельность, каково сейчас состояние российской науки и противоречит ли вера знанию.

В ДЕСЯТОМ КЛАССЕ Я БОЛЬШЕ

ИНТЕРЕСОВАЛСЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИЕЙ

– Расскажите, пожалуйста, как вы стали ученым?

– Так получилось, что я с детства вращался в научной среде, и передо мной, по сути, даже не стояло серьезного выбора, кем становиться. Мои родители – ученые. Отец – профессор, заведующий кафедрой минералогии в Санкт-Петербургском университете на геологическом факультете, мама – кристаллограф, доцент химфака. Дед по отцу был полевой геолог, и он тоже учился в нашем университете в 1920-е годы.

Так что научная геолого-минералогическая среда и геологическая профессия всегда были для меня чем-то своим, можно сказать, родным. В детстве я занимался в клубе юных геологов при ленинградском Дворце пионеров, ездил в летние экспедиции, поэтому к окончанию школы ни капли не сомневался в том, чем хочу заниматься в дальнейшем, разве что только выбирал специализацию внутри геологии.

– Интересно, а помните, может быть, какие научные проблемы вас интересовали тогда, когда вы поступали в университет?

– Когда я поступал в университет, меня, если честно, больше волновали проблемы религиозные. Хотя, конечно, научные вопросы меня занимали с самого детства: у отца была небольшая коллекция минералов, которую я часто разбирал. Я ходил к нему на работу, слушал его разговоры с коллегами и друзьями и т.д. Но в десятом классе школы я больше интересовалась религиозной философией.

ОНА ОБРАТИЛА МЕНЯ

БУКВАЛЬНО МИНУТ ЗА ПЯТНАДЦАТЬ

– Это было связано с вашим воцерковлением?

– Мои родители нерелигиозные, и я был некрещеный, крестился только в 1991-м году. У меня в школе была очень хорошая учительница по литературе в 10-м классе, Ирина Георгиевна Полубояринова. И она обратила меня буквально минут за пятнадцать – каким-то своим обликом, своей внутренней духовной красотой. А я тогда был очень либерально настроен, время было такое, если помните. Все, и я в том числе, читали «Дети Арбата», «Огонек» и т.д. Я помню, в «Огоньке» все времена были разгромные статьи по поводу «Нашего современника». Там клеймили Вадима Кожинова, Станислава Куняева...

– Вы были тогда «прогоньковский»?

– Да, и если честно, то очень. Но как только в класс вошла Ирина Георгиевна, она меня настолько поразила своей внутренней красотой, что я сразу же переметнулся в другой лагерь и буквально через 15–20 минут был уже на ее стороне. Я еще, помню, тогда подумал: «Надо же, какой я беспричинный человек!» (смеется)

– А в каком смысле она вас обратила? Она же, наверно, не говорила на уроках литературы, что надо верить в Христа,ходить в храм и т.д.

– Сначала я перешел на ее сторону в смысле идеином, культурно-патриотическом, и только потом – религиозном. Ирина Георгиевна на уроках говорила о Христе как бы с точки зрения Достоевского. Она не проповедовала, и я считаю, что это правильно. Напрямую, особенно с молодежью, этого делать не надо. Современная молодежь очень чуткая, и когда ей что-то пытаются навязать, она отшатывается. Ей поэтому не надо ничего навязывать, но показывать положительную сторону, раскрывать глубину и красоту Православия, что, конечно, не простая задача.

Хотя, надо сказать, Ирина Георгиевна очень хорошо относились и к лучшей советской литературе. Например, к Михаилу Шолохову или Александру Фадееву, которые сегодня не особенно в моде.

– Крестились вы уже позже?

– Да, позже. Но сначала я читал Достоевского, потом перешел на русскую религиозную философию – Бердяев, Флоренский.

– Как поменялась ваша жизнь после того, как вы стали диаконом? Например, вам сложнее стало успевать по научной линии?

– Да, сложнее. Иногда бывает такое перенапряжение, что заболеваете и недельку дома просто отлеживаешься. Диаконское служение и наука – все-таки разные роды деятельности. На работе, когда читаешь лекцию, там можно сымпровизировать, поменять тему или рассказать анекдот. А на богослужении все четко и доведено чуть ли не до полуавтоматизма. Все нужно делать вовремя, и это, конечно, другое, нежели читать лекции студентам.

– Как часто вы служите как диакон?

– В выходные и праздники, в храме священновелкомученика Пантелейиона, рядом с метро Удельная. У нас всего один священник и один диакон. Вот недавно рукоположили второго диакона.

– По всем праздникам и выходным служите?

– Стараюсь, по мере возможности. Поскольку у нас нет служб в будние дни, то настоятель отпуск не берет, и получается, что даже летом надо служить все времена.

– Сколько вам было лет, когда вы защитили докторскую и когда вы стали членом-корреспондентом Академии наук?

– Докторскую я защитил в 29 лет, а членом-корреспондентом Академии наук стал в конце прошлого года.

– Скажите, вы изначально были человеком, заточенным на научную карьеру?

– Если честно, то да. У нас это, можно сказать, семейная традиция. Кроме того, я делал карьерные шаги, чтобы доказать родителям, что верующий человек тоже может успешно заниматься наукой. Папа мне говорил: вот ты в церковь ходишь, а лучше бы писал диссертацию. И когда я защитил кандидатскую, у нас в семье все были очень довольны, но начали пилить, чтобы я защищал докторскую. Пилили-пилили и допилили.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПРОВАЛ В РОССИЙСКОЙ НАУКЕ

– ЛЮДИ В ВОЗРАСТЕ 40-50 ЛЕТ

– Как вы сейчас оцениваете состояние российской науки в целом, если сравнивать ее с советской наукой и с наукой на Западе?

– Мне, конечно, очень жаль науку советского времени. Я говорю про естественные науки. Это была очень сильная школа с оригинальными разработками.

– У нынешней российской науки уровень ниже?

– Уровень упал, это надо признать. С другой стороны, произошла очень важная вещь – интернационализация научных исследований, выход наших ученых на международную арену. А уровень науки у нас упал, потому что в какое-то время практически прекратился приток молодежи. Но сейчас он возобновляется.

– Как давно он возобновился?

– Уже лет 7-8. Самый большой провал в российской науке в целом – это среднее звено, возраст 40–50 лет. А ведь его наличие очень важно, именно эти люди должны сейчас передавать умения и навыки приходящей молодежи.

Но тем не менее, что касается нашей геологии и минералогии, они у нас всегда были очень сильные и по-прежнему остаются одними из самых сильных в мире. И сохранить эти позиции удалось во многом как раз потому, что из нашей научной области, из людей моего поколения, на Запад уехали немногие.

– Почему именно ваши коллеги в большинстве предпочли остаться здесь?

– Веримо, просто потому, что геологи – люди, близкие к земле, к почве.

– Как они выживали в 1990-е?

– Все по-разному. Одни мои коллеги, очень сильные специалисты и ученые, основали небольшое предприятие. Они собирали образцы хороших минералов, выезжали на Запад и там их продавали.

– Это было законно?

– Абсолютно. У них была лицензия и все, что полагается в этом случае. Но сейчас они этим уже не занимаются, потому что ситуация с оплатой труда ученых в нашей области нормализуется, и им больше не надо заниматься торговлей.

– Сейчас в философии науки обсуждается проблема, что современная наука все больше становится лишь pragmatически и технологически ориентированной. Ученых уже не столько заботит, как устроен мир, а какую бы еще эффективную технологию придумать. Вы сами замечаете эти тенденции в науке?

– Да, действительно, это очень заметно. Тем не менее мой основной внутренний позыв – это познание мира. Это то, что мне приносит глубокое удовлетворение.

Сейчас пытаются всех ученых заставить заниматься прикладными исследованиями. Но, к счастью, это пока не имеет повального характера. И гранты дают сейчас разные, в том числе и на фундаментальные исследования.

НАУКА ДОЛЖНА НЕ ТОЛЬКО БРАТЬ, НО И ОТДАВАТЬ ЧТО-ТО ГОСУДАРСТВУ

С другой стороны, наука должна не только брать, но и отдавать что-то государству. Особенно это касается естественных и точных наук. Нужны новые изобретения и т.д. Здесь надо соблюдать разумный баланс. Встать на позицию государства – это, в принципе, правильный подход. Но если мы не будем заниматься фундаментальными исследованиями, то всегда будем плестись за кем-то в хвосте.

– А чем занимаетесь вы конкретно, можете сказать доступным языком? Это прикладные или фундаментальные исследования?

– Я занимаюсь разными темами. Одна из них – это исследование той роли, которую играют такие понятия, как сложность и простота структур, в природных процессах. Главная проблема – как определить меру сложности того или иного минерала. Нам удалось придумать или создать такую меру сложности, при помощи которой я могу каждому минералу приписать два числа, которые будут описывать его сложность. А дальше появляется возможность смотреть, как, в зависимости от нашей меры сложности, минералы ведут себя в природе: как один минерал заменяет другой, какой минерал будет расти, а какой нет, и т.д.

Конечно, мы занимаемся и практическими задачами, в том числе открытием новых минералов, синтезом новых веществ и т.д.

– В одном из своих прежних интервью вы говорили, что среди учёных патриотизм не особенно в моде. Как вы думаете, почему?

– Это я давно говорил, наверно, где-то в 2008-м году. Сейчас дело обстоит по-другому, особенно в случае с молодежью. Причем патриотизм у них не такой, что вот сейчас мы всех победим и шапками закидаем, а довольно трезвый и разумный: я хочу и буду работать в России, и всё. И это не отменяет сотрудничества с американцами, немцами или французами по научной линии.

– Разве для научной среды не свойственна, скажем так, повышенная оппозиционность?

– Сейчас я бы так уже не сказал. Да, у нас есть люди, скажем так, настроенные резко оппозиционно, но это уже не массовое явление. Кроме того, это все равно наши очень хорошие коллеги и друзья, и мы их очень любим. Мой учитель и научный

руководитель, Станислав Константинович Филатов, к политическим убеждениям своих коллег всегда относился очень спокойно. Может, мне от него передалось, что надо прежде всего заниматься своим делом.

Хотя я всегда все-таки активно интересовался политикой. И вообще, я узнал о своей натовской стипендии и в первый раз поехал в Штаты в апреле 1999 года, когда НАТО бомбило Белград. Мы накануне всем приходом ходили к американскому консульству с иконой государя-мученика. И тут буквально через несколько дней приходит сообщение: вам дали стипендию. Первое мое желание было – отказаться. Я даже написал письмо с отказом, но его не отправил. Я вдруг подумал, что будет лучше даже не для меня лично, а для страны. Чтобы я сейчас остался прозябать в научном смысле или сделал мощный рывок?

– А вы его действительно сделали?

– Да, сделал.

– А что было бы, если бы вы не поехали?

– Скорее всего, я бы просто не состоялся как учёный. В наше научной сфере очень много зависит от экспериментального оборудования. Те вещи, которые я здесь делал тогда за полгода, там я смог сделать за полдня, и это не преувеличение.

Но сейчас ситуация сильно поменялась. По крайней мере, у нас в Санкт-Петербургском университете оборудование сегодня ничем не уступает заграничному, а по некоторым показателям даже лучше зарубежных аналогов.

ФАКТЫ НАУЧНЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ

– Как в научной среде относятся к вашим религиозным взглядам? Или никак не относятся, потому что вы их не особо афишируете?

– Во-первых, у нас не так уж и мало верующих ученых. Я не буду сейчас называть имена, но знаю даже академиков и членов-корреспондентов Академии наук, которые являются верующими людьми, или, как это называется в иностранной кальке, «практикующими православными». Они причащаются, исповедуются и т.д.

– Но их же, наверно, немного.

– Немного, но они есть.

– А с активным неприятием вашей веры в научной среде вам приходилось сталкиваться?

– Практически нет. Вы знаете, даже если у кого-то и есть неприятие религии, мои коллеги будут избегать его выказывать просто из чувства взаимного уважения.

– Скажите, а вы сами не чувствуете внутри себя какого-то внутренней дисгармонии из-за конфликта между наукой и верой? Элементарно, даже в плане времени? Скажем, можно читать сиятых отцов, а время тратится на что-то другое, духовно менее полезное.

– Я понимаю, о чем вы говорите. Знаете, был такой философ Кожевников. Он изучал буддизм, иные восточные религии. Он состоял в переписке с отцом Павлом Флоренским и в одном письме очень сетовал на то, что потратил столько времени на изучение восточных религий, хотя мог бы потратить его на изучение сиятых отцов. И отец Павел ответил ему примерно следующее: конечно, тысяча дней стояния на камне лучше, чем тысяча дней, потраченных на изучение восточных религий. Но все равно, тысяча дней, потраченных на изучение восточных религий, лучше, чем тысяча дней, проведенных в кабаках и загулах.

– Неужели вы совсем не чувствуете конфликта интересов? Ведь ученый интересно другое, нежели «дела небесные» в духовном смысле.

– Нет, не чувствую. Естественные науки – это предметное, конкретное знание. Оно подлежит проверке опытом, и мне это очень нравится. Человек поставил эксперимент, что-то доказал, и дальше никто не скажет, что он заблуждается, что он шарлатан, а не учений.

Я изначально был ориентирован на точную науку, а естественные науки и дают ощущение точности. В них есть прочность вывода, прочность факта, причем этот факт обязателен для всех.

– Но ведь вера часто фактам противоречит. В ней всегда есть очень значимый субъективный момент.

– Вера тоже опирается на факты, хотя и не общеобязательные.

– Но для многих же не факт, например, Воскресение Христово. Мы должны в него поверить.

– Но это факт. Я не могу его, правда, доказать, потому что иначе у нас не было бы свободы. Простите, но если бы Воскресение Христово было воспроизведимым, как того требует научный факт, то наша свобода была бы нарушена. А Господь хочет от нас свободы, свободного волеизъявления